### Светлана СомоваТень на глиняной cтене

**Анна Ахматова в Ташкенте**

|  |
| --- |
| Явись, возлюбленная тень, Как ты была перед разлукой.А. Пушкин |

Тень Ахматовой, прозрачная и призрачная тень женского склоненного профиля, обведенного карандашом на беленой стене азиатского дома, может быть сочтена античной камеей. Она была вычерчена на внутренней стене на втором этаже старого дома и содержала в себе тайну, глубоко скрытую от окружающих.
И эти мои строки - не воспоминания, на которые можно ссылаться как на достоверность, а просто думы поэта о поэте, где правда смыкается с вымыслом, новелла - с подробностями жизни Ахматовой, соотносящимися с ее стихами.
Война, тревога, смерть, голод и холод, предзимняя слякоть на улицах города, куда съехались беженцы со всех земель, занятых оккупантами, и из осажденного Ленинграда; тут звучали разные языки, метались измученные люди. На площади стоял небольшой двухэтажный дом, выстроенный еще старыми ташкентцами напротив собора, улица называлась Соборной, а потом носила имя Карла Маркса, но еще оставался на краю новой Красной площади дом, обсаженный тюльпановыми деревьями, где жила в то время Ахматова.
Ахматову вывезли из Ленинграда на самолете. И три года эта женщина жила в Ташкенте, в пыли его улиц терялись ее узкие следы, она провожала взглядом грузовики, везущие снаряды, самолеты, воинов, мерно шагающих к вокзалу, к фронту. Была она высока, строга и прелестна какой-то особой прелестью, ходила прямо и не спеша, носила длинные широкие, наподобие туники, платья, отличалась крайней сдержанностью, презрением к быту, стоическим мужеством. Когда некоторые женщины говорили: "Сейчас война, все можно", - ее серо-зеленые глаза смотрели холодно и отчужденно. "Ничего нельзя", - отвечала им Ахматова, и руки ее, прекрасных очертаний и жесткой работоспособности, касались темно-русых волос надо лбом, как бы всегда склоненным к рукописи. При всей житейской смиренности, подобно старинному замку, ее как бы окружал невидимый ров, который никто не мог перейти; так казалось мне тогда.
Ее военные стихи теперь воспринимаются как эпос, в них звучат многострадальность и многокрасочность женской души. Я вижу Ахматову на земляной крыше караван-сарая в старом Ташкенте, вижу ее лицо, повернутое к родному Ленинграду, слышу ее грудной, негромкий голос...

**1**
Щели в саду вырыты,
Не горят огни.
Питерские сироты,
Детоньки мои!
Под землей не дышится,
Боль сверлит висок,
Сквозь бомбежку слышится
Детский голосок.

**2**
Постучись кулачком - я открою.
Я тебе открывала всегда.
Я теперь за высокой горою,
За пустыней, за ветром и зноем,
Но тебя не предам никогда -
Твоего я не слышала стона,
Хлеба ты у меня не просил.
Принеси же мне ветку клена
Или просто травинок зеленых,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой,
Нашей невской студеной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы.

Это написано 23 апреля 1942 года в Ташкенте, в том самом доме, о котором говорилось и где Ахматова узнала о гибели при бомбежке своего соседа-мальчика в Ленинграде. Я как бы вижу его - прозрачного - средь ташкентских глин, с невской водой в горсти. И вдруг звучит издалека печальный голос женщины, доносится через века голос Ярославны из древнего Путивля, эти нежные, горестные слова: "Полечу - рече - зегзицею"; затем вплывает чистый и музыкальный ритм Николая Заболоцкого, из его перевода "Слова о полку Игореве":

Над широким берегом Дуная,
Над великой Галицкой землей
Плачет, из Путивля долетая,
Голос Ярославны молодой:

"Обернусь я, бедная, кукушкой,
По Дунаю-речке полечу
И рукав с бобровою опушкой,
Наклонясь, в Каяле омочу.
Улетят, развеются туманы,
Приоткроет очи Игорь-князь,
И утру кровавые я раны,
Над могучим телом наклонясь".

Вот откуда, из русского былинного лада, идет волна материнской нежности, страдания и состраданья в военных стихах Ахматовой. Как Ярославна хочет утереть рукавом кровавые раны князя Игоря, так и Ахматова с материнской чуткостью хотела бы смыть кровавые следы с головки ленинградского мальчика...
А какой горькой заботливостью дышат стихи о блокадном Ленинграде!

Ноченька!
В звездном покрывале,
В траурных маках, с бессонной совой...
Доченька!
Как мы тебя укрывали
Свежей садовой землей.
Пусты теперь Дионисовы чаши,
Заплаканы взоры любви...
Это проходят над городом нашим
Страшные сестры твои.

Эти стихи, как и "Мужество", написанные в Ташкенте, хранят русские народные ритмы, эпические интонации, они вселяют мужество, они оплакивают потери. Родина и любовь, любовь и Родина - их лейтмотив. Живо скреплены военная и патриотическая темы в русской лирике. Вспомним "Жди меня" Константина Симонова, "Землянку" Алексея Суркова, и где-то рядом с ними - стихи Анны Ахматовой. Приведу одно из них, на первый взгляд простое и незаметное, но несущее в себе глубочайший подтекст, те зримые и незримые черты времени, которые делают стихи эпосом.

И в День Победы, нежный и туманный,
Когда заря, как зарево, красна,
Вдовою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна.
Она с колен подняться не спешит,
Дохнет на почву и траву погладит,
И бабочку с плеча на землю ссадит,
И первый одуванчик распушит.

Как будто простой пейзаж: туманный день, красная заря, женщина над могилой. Но вдумайтесь! День этот потому кажется нежным, что наступила вдруг тишина, непривычная и нежная после страшного грохота войны; туманным - потому, что кое-где еще не развеялся дым, земля дышит теплым туманным парком, отдыхая после жестокой, неистовой грозы. А заря, как то догоревшее зарево ближнего боя, красна она, как кровь, пролитая нашим народом на войне. И женщина эта - вдова, одна из многих, осиротевших на войне и не имеющих "своей" могилы. Они неслышно бродят по земле и наклоняются над безымянными могилами, изливая свою безутешную скорбь. И могила-то та самая, безымянная, одна из множества могил, покрывших нашу бедную землю. И не только бедную, но и богатую своими живыми людьми, входящими в будущее. Женщина-весна стоит на коленях над могилой, гладит траву. Тот, кто годы жил среди смерти и огня, тот, увидев первую траву, взошедшую на крови, поймет это чувство, это желание прикоснуться к ней рукой. А весна снимает с плеча и возвращает земле бабочку, распушивает первый одуванчик. Этот одуванчик - не символ ли времени, которое неслышно улетает, как бы ни было тяжко в прошлом?..
Военные стихи Ахматовой живут своей особой жизнью и сегодня. В Крыму, на Дарсан-горе, над Ялтой, где находится мемориал погибших за освобождение Крыма, у Вечного огня выбиты на граните слова Ахматовой: "Для славы мертвых нет" - из стихотворения, написанного в Ташкенте в 1942 году; а в осажденном Ленинграде на плакатах было начертано стихотворение "Клятва":

И та, что сегодня прощается с милым, -
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!

Эти строки, написанные в Ленинграде в 1941 году, взволнованно слушал, а, потом повторял Иван Данилович Черняховский в сорок третьем году на Курской дуге. Он был Героем Советского Союза, генералом армии, которую мы, узбекская фронтовая бригада, тогда посетили. Красивый, молодой, обаятельный, самый молодой генерал армии, он любил стихи и погиб в бою за Родину через год после того, как мы его видели. Не случайно именно солдаты, ежедневно рискующие жизнью, горячо принимали стихи Ахматовой.
Но вернусь в Ташкент, на улицу Карла Маркса, 7, в ту каморку с круглой железной печкой посередине, где писались эти военные стихи и где не было мебели, а Сергей Городецкий, который жил с семьей рядом, нарисовал синей масляной краской на стене крупные виноградные листья и кисти. Тут начинается загадка, запертая на все ключи. Вероятно, вошла в эту комнату последняя, глубоко спрятанная любовь. Если вчитаться в ташкентские стихи Ахматовой, разбросанные по книгам, прочесть их подряд, то ясно, что это так, что это - ташкентский роман в стихах. Недаром написано:

И слава лебедью плыла
Сквозь золотистый дым.
А ты, любовь, всегда была
Отчаяньем моим.

В эту комнату по скрипучей железной лестнице приходили к Ахматовой ее друзья, и Алексей Федорович Козловский тоже.
Козловский был профессиональным композитором и дирижером, писал оперы, симфонии, сонаты, создал музыку к стихам Анны Андреевны. Известна его музыка на стихи "Царскосельская статуя", "Ива", фрагменты о Ленинграде из "Поэмы без героя", к драме "Пролог". После его смерти музыкальный архив передан в музей имени Глинки, а ноты со стихами Ахматовой у его жены.
Козловский родился в Киеве 15 октября 1905 года, окончил Московскую консерваторию по классу композиции, был дирижером Театра имени. Станиславского и Немировича-Данченко, потом - Театра имени Навои в Ташкенте, дирижером и художественным руководителем симфонического оркестра Ташкентской филармонии, профессором Ташкентской консерватории.
Творчество Алексея Козловского многообразно и тесно сплетено с Востоком, с его историей и поэзией. Тут и три оперы - "Афдаль", "Улугбек" и "Хамза", и балет "Слава Октябрю", и симфонии, сонаты, песни на стихи Навои, Рабиндраната Тагора, самаркандские и бухарские фуги, каракалпакские напевы и другие музыкальные жанры. Остались также стихи, и стихи прекрасные, которые он, оказывается, писал и не печатал. Он был удостоен звания народного артиста Узбекской республики. Влюбленный в Восток, посвятивший ему всю жизнь, он обладал величайшим светлым талантом, работоспособностью и редчайшей скромностью.
Почему-то в музее не оказалось не только музыки на стихи Ахматовой, но даже памяти о ней, будто она прошла стороной мимо жизни и творчества композитора. Но стихи Алексея Козловского, написанные под влиянием Ахматовой, ведут свой таинственный рассказ о бывшем и не бывшем, дают возможность почувствовать сильный, рыцарский характер, его мучительное, но радостное чувство. Привожу строки из его "Апреля":

Я видел мак на древнем кирпиче,
Горячий мак, проросший из ступеней,
Из камня к солнцу. Будто мастер некий,
Кончая роспись, киноварь пролил
Из чаши невзначай горячей каплей.

Под стихотворением Ахматовой, открывающим ташкентский цикл, - "Заснуть огорченной, проснуться влюбленной, увидеть, как красен мак..." - стоит: "апрель 42 г."; два апреля, два мака - символа любви, а в клавире романса "О любовь, о тайна тайн" под нотами такие слова, написанные самим Козловским:

О любовь, о тайна тайн,
Счастливый сон, что лишь счастливым снится!
Если любишь, сдерживай стенанья,
Утаи любовь от света,
Чтоб невзначай не выдать тайну сердца,
Не выдать пред людьми.
От молвы ее спасая,
Обожанья скрой приметы,
В пламени любви сгорая,
Словно радость боль прими…
О любовь, о тайна тайн,
Счастливый сон, что лишь счастливцы знают.

На клавире написано, что стихи автора, "дата не проставлена. У Ахматовой есть стихи о любви - "сон во сне": "...там, где сочиняют сны, обоим - разных не хватило, мы видели один..." Не много ли совпадений, чтобы счесть их случайными? К тому же "тайна тайн" - редкое словосочетание. И опять встают в памяти одни из последних ахматовских строк: "Конец ли дня, конец ли мира иль тайна тайн во мне опять".
Интересно, знала ли Ахматова стихи Козловского или он и от нее скрывал эти "обожания приметы?" И если у ее стихов - интонация горечи, отчаянья, то у Алексея Козловского - пробивающееся счастье, где и боль воспринимается, как радость. А мы, люди, от которых скрывали "тайну сердца", с благоговением повторяем эти исповедальные, счастливые слова двух поэтов, радуемся, что такая чистая и целомудренная любовь существовала на свете, и стихи про нее воспринимаем как живые свидетельства человеческой души. Может быть, скажут мне, это заметить могут только поэты. Но ведь стихи и обращены прежде всего к поэтам, ведь поэзия - это прежде всего состояние души.
Как жаль, что я не умею читать музыку и не знаю, как она окружает эти страстные слова, как звучит волшебное и редкое сочетание любви, стихов и музыки в одном человеке, может быть, я разглядела бы и в музыке его ахматовскую тему. Ведь Анна Андреевна писала: "В которую-то из сонат тебя я спрячу осторожно".
А я слышу, как над образом Алексея Козловского, вдруг неожиданно выросшего предо мною, хлопает на ветру старый романтический парус рыцаря Бертрана из блоковской драмы "Роза ж Крест", и слышится песня:

Путь твой грядущий - скитанье,
Шумный поет океан,
Радость, о, Радость-Страданье -
Боль неизведанных ран!
Всюду - беда и утраты,
Что тебя ждет впереди?
Ставь же свой парус косматый,
Меть свои крепкие латы
Знаком креста на груди!

Каков же он, Алексей Козловский? Я с ним была знакома, мы вместе работали для издательства над эквиритмическим переводом стихов узбекских поэтов на его музыку. Тогда он много играл на рояле в Союзе писателей. Работал он легко, весело и очень чутко. Когда я запиналась, подыскивая нужный словесный оборот, он мне подсказывал. Запомнилось особое чувство ритма в его походке, словах, его ощущение искусства, и еще - его серые смешливые глаза, добрые руки.
Он был покорён Ахматовой при первой же встрече, как бы дышал ее дыханием. Тень на стене вокруг головы Ахматовой обвел именно он, второй ее силуэт был сделан им же в доме Козловских на Хорошинской улице, где они тогда жили. В Ташкенте я не знала обо всем этом (кроме тени, которую видела собственными глазами в присутствии Ахматовой), не знала, что знакомого мне дома коснулась любовь - творческое чудо взаимного обогащения двух художников.
Я вижу Ахматову при свете тусклой лампочки без абажура, в светлом платье, со строгим и бледным лицом, с губами, чуть тронутыми улыбкой, ее склоненный лоб "со свежей пылью задетых где-то облаков", как прекрасно сказал Сергей Шервинский, с которым Анна Андреевна дружила:

Над блюдцем свежей земляники,
В холщовом платье, в летний зной,
Она - сестра крылатой Ники
В своей смиренности земной.
…Она у двери сложит крылья,
Прижмет вплотную вдоль боков
И лоб нагнет со свежей пылью
Задетых где-то облаков.

А в Ташкенте вижу ее милую, мягкую, русалочью (не потому ли, что выросла на море) позу, вижу Козловского с пристально светлеющими глазами и музыкальными руками, когда он водит карандашом по левой от двери стене азиатского дома. Они посмотрели друг на друга и увидели сон, что снится лишь счастливым. Как писал о нем Козловский, мы уже знаем, а Ахматова писала так:

А там, где сочиняют сны,
Обоим - разных не хватило,
Мы видели один, но сила
Была в нем, как приход весны.

Это стихотворение названо "Вместо послесловия" и помечено 1965 годом. Неужели же двадцать с лишком лет жила память о том сне и за год до ее смерти (в год шестидесятилетия Козловского) назвалась "послесловием" в этом замечательном четверостишии?..
И тут передо мной является из давнего времени другая удивительная любовь двух творческих личностей - любовь Ивана Тургенева и Полины Виардо. Она прошла через всю его жизнь, изломала её, но и наделила в самых нелегких обстоятельствах светом, который спустя век доходит до нас в этих необыкновенных словах:

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.
Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первая встреча, последняя встреча,
Тихого голоса звуки любимые.
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далекое,
Слушая говор колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

Стихи эти известны как романс в прекрасном исполнении Надежды Обуховой, но о том, что это - одна из вершин русской лирики, мы как-то забыли.
Ахматовская ташкентская лирика связана с войной, с любовью и с приобщением к Востоку, который издавна был источником вдохновения для русских поэтов; вспомним Жуковского, Козлова, Пушкина, Лермонтова, наконец, Есенина, Тихонова, Луговского, Санникова - все они были первооткрывателями каких-то новых сторон в душах своих и в русской лирике, они впитывали в себя философию и уклад древнего и нового Востока и по существу воспевали новые народы.
Ахматова и Восток - особая тема, ее ощущение любви как смятения, безумия, ее мотивы сновидений, наваждений близки восточной романтике, вспомним историю Меджнуна и Лейли, их встречи, разлуки, безумие и смерть от любви, разделенной, но разлученной.
Она скрывала эту свою любовь даже в книгах - то она мелькнет в цикле "Луна в зените" (март-апрель 42 года); то в "Ташкентских страницах" (59 год), то за год до смерти, в 1965 году, или в стихотворении "А в книгах я последнюю страницу...", помеченном 1943 годом, или в пяти ё стихотворениях "Cinque"; и все это Пересыпано другими стихами, почти засекречено, и Почему?.. Можно только гадать, да нужно ли это?

От странной лирики, где каждый шаг - секрет,
Где пропасти налево и направо,
Где под ногой, как лист увядший, слава,
По-видимому, мне спасенья нет.

Осторожное ощущение чувства как тайны сближает таких, предельно откровенных в лирических подробностях поэтов, как Анна Ахматова и Федор Тютчев, который столетье назад сказал об этом так убежденно:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои -
Пускай в душевной глубине
Заходят и взойдут оне
Безмолвно, как звезды в ночи, -
Любуйся ими - и молчи.

Строки о странной лирике написаны осенью сорок четвертого года, тематически они примыкают к ташкентским стихам. И когда прочтешь весь цикл подряд, то окунешься в неведомый мир чистой, целомудренной любви гордого, прекрасного человека. Стихи Ахматовой исповедальны, но такая исповедь всегда поэтически преображена и не равна достоверности. Такова уж судьба поэтов, что даже мучительная исповедь становится литературной и общечеловеческой ценностью, и чем она правдивей, тем дороже для человечества. Хочу привести добрые слова Льва Николаевича Толстого из "дневника молодости": "Зачем так тесно связана поэзия с прозой, счастие с несчастием?.. В мечте есть сторона, которая лучше действительности; в действительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастие было бы соединение того и другого".
И может быть, потому стихи Ахматовой дают читателю это полное счастие, что в них соединяются мечта и действительность?
Пользуясь правом домысла, разрешаю себе неразрешимое: пытаюсь найти разгадку ташкентских стихов Ахматовой, располагая одно за другим, так, как помнится мне их появление в Ташкенте и как, по всей вероятности, развивалось ее тайное чувство. Предельно точная, она начинает этот цикл прощанием с прежней любовью, пишет жесткое, как бы изображенное графически, стихотворение. Разбитое зеркало, разбитая прежняя любовь:

Не оттого, что зеркало разбилось,
Не оттого, что ветер выл в трубе,
Не оттого, что в мысли о тебе
Уже чужое что-то просочилось -
Не оттого, совсем не оттого
Я на пороге встретила его.

Написано это четко, с нарастающей страстью, с анафорой, где пять раз повторено "не оттого", а в предпоследней строке еще усилено словом "совсем". "Не оттого, совсем не оттого", а отчего - остается тайной для того, кто не умеет читать стихи. Рождение новой любви параллельно с постижением Востока - празднично и счастливо. Вспоминается Пушкин:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит.
И сердце вновь горит и любит - оттого,
Что не любить оно не может.

Стихотворение, которого я уже слегка касалась, только кажется простым, а на самом деле сложно. Тут и Восток, разворачивающаяся тема сновиденья, и красный цвет мака как символ любви, и высокий тополь как знак восточной мудрости, и, наконец, Шехерезада, сразу отсылающая к арабскому источнику - "Тысяче и одной ночи".

Заснуть огорченной,
Проснуться влюбленной,
Увидеть, как красен мак.
Какая-то сила
Сегодня входила
В твое святилище, мрак!
Мангалочий дворик,
Как дым твой горек
И как твой тополь высок.„
Шехерезада
Идет из сада...
Так вот ты какой, Восток!

Это прелестная и счастливая акварель, в которой даже военные черты - мангалки, дворовые печки для стряпни, и двор, заселенный беженцами, - опоэтизированы. Анна Андреевна уже познакомилась с Козловскими, вместе встречали Новый год, хозяйка пела, а Алексей Федорович играл на рояле, тут и завязалась дружба на всю жизнь. Ахматова говорила: "Вы оба наделены божественным даром дружбы".
Может быть, это - божественный дар дружбы - и было лейтмотивом рождающейся любви?.. Другое стихотворение, "Ташкент зацветает", написано на одном дыхании с первым, счастливое, естественное и тоже как бы акварельное. Я его приводила в первой части своей работы, но повторю еще раз:

Словно по чьему-то повеленью,
Сразу стало в городе светло -
Это в каждый двор по привиденью
Белому и легкому вошло.
И дыханье их понятней слова,
А подобье их обречено
Среди неба жгуче-голубого
На арычное ложиться дно.

Тогда Ташкент был еще одноэтажным, и при каждом маленьком доме был сад или дворик с фруктовыми деревьями, где, как только теплело, люди находились больше, чем в комнатах, - они спали, обедали, отдыхали и работали на воздухе, в карагачевой, тополевой, тутовой тени. Вы просыпались утром и удивлялись особенному свечению - это расцвели белые миндали, урючные, персиковые, вишневые деревья. Кроме легчайшего бело-розового цвета от них исходил и несказанный аромат, цветы колыхались под горным ветерком, как будто волшебно дышали, отражаясь в арыках вместе с небом, а поющие арыки несли по всему городу свою холодную воду и отражения цветущих деревьев.
Как живо и точно нашла Ахматова эпитет к небу: не темно-голубое, не ярко-голубое, а "жгуче-голубое", потому что на Востоке небо знойное, даже весною и утром. Вообще она - мастер неповторимых эпитетов, вспомним "тускло-голубое" небо Венеции, "весело-сухие" деревья, "нежно-ледяную" воду и многое-многое другое. А приведенное стихотворение тогда, в трагическую эпоху войны, было подвигом человеческого духа в борьбе против зла, фашизма, бездуховности, оно пробуждало веру в жизнь, в радость, в победу. Помогает оно жить и сейчас!
Я думаю: каким счастливым был Козловский, он сумел приблизиться к невероятной творческой стихии, почувствовать трагическую душу, порадовать ее своей дружбой, своей музыкой. И она это оценила, написала "Явление луны", напечатала в книге 1961 года, а уже за год до своей смерти в книге "Бег времени" своей рукой написала над ним "А. К." В предыдущей книге к этим стихам примыкает цикл из восьми стихотворений - "Заснуть огорченной...", "С грозных ли площадей Ленинграда...", "Все опять возвратится ко мне...", "И в памяти, словно в узорной укладке...", "Не оттого...", "Третью весну встречаю вдали...", "Все те же хоры", "Как в трапезной - скамейки, стол, окно...". Все они посвящены Азии и, связанные со стихами "Явление луны", овеяны любовью.

Из перламутра и агата,
Из задымленного стекла,
Так неожиданно покато
И так торжественно плыла, -
Как будто "Лунная соната"
Нам сразу путь пересекла.

Это шестистишье - чудо, земное и небесное. Попробую подумать вслух, почему эти простые на первый взгляд строки несут в себе взрывную творческую силу. Во-первых, слово "явление". Не восходит луна, не вплывает, а - является, как бог, как человек, неожиданно вошедший в дом, как событие; и второй план: является луна - является любовь. Обычно луну изображают светящейся, золотой, серебряной, а тут она неожиданно матовая и весомая, это перламутр с легкими Отсветами, агат, камень серо-белый, с прожилками, задымленное стекло - это пронзительно своей новизной, своим волшебством. Помните, у Пушкина: "Сквозь волнистые туманы пробирается луна"? А тут не туманы, а сама луна волнистая. Стихи Пушкина оканчиваются: "Колокольчик однозвучен, отуманен лунный лик". Не из этого ли "отуманен" и возник образ ахматовской луны? И еще - слышится музыкальная тема, близкая человеку, которому стихи посвящены (луна - соната Бетховена) и весь музыкальный подъем, в ней заключенный. Она плыла по небу "покато", как бы наклоняясь к людям, и пересекла им путь. Так в поэзии продолжалась на протяжении двадцати лет тайна сна, который видели два человека. Тут я вспоминаю стихи, по своей страстности и философскому складу примыкающие к ташкентскому циклу:

Это рысьи глаза твои, Азия,
Что-то высмотрели во мне,
Что-то выдразнили подспудное
И рожденное тишиной,
И томительное, и трудное,
Как полдневный термезский зной.
Словно вся прапамять в сознание
Раскаленной лавой текла,
Словно я свои же рыдання
Из чужих ладоней пила.

Азия - праматерь. Эта философская мысль перекликается со "Скифами" Блока, Может быть, сама Азия-отец поэтов Навои, его Фархад и Ширин и вся восточная романтика - подсказала Ахматовой "Раскаленную лаву" чувства, поэтическое сказание о любви, которой нет и быть не может? Где тут вымысел и где действительность? Есть действительность, именуемая стихами, нам радоваться ими, с ними грустить, над ними задумываться. И все же, все же... всем своим поэтическим подсознанием я уверена, что была такая любовь у Ахматовой, и связана она была с моим родным городом, с Ташкентом.
Стихотворение "Как в трапезной - скамейки, стол, окно..." соединяет в себе ощущение войны, России, Востока. Само слово "трапезная" вызывает воспоминание о старой России, еще монастырской, с ее аскетической простотой, с образом Пимена, думающего, что "...монах трудолюбивый... засветит... свою лампаду - и, пыль веков от хартий отряхнув, правдивые сказанья перепишет". Это и Азия, где "зацветает ветка над стеною" (а стена эта - глиняный забор, именуемый дувалом, или другое низкое глиняное строение, над которым зацветают как бы на виду фруктовые деревья), это и родина сухого винограда, который называется запросто "изюмом", и земля, давшая пристанище миллионам людей и сохранившая их жизни во время войны. Я это стихотворение уже цитировала, поэтому чуть коснусь его:

Как в трапезной - скамейки, стол, окно
С огромною серебряной луною.
…И зацветает ветка над стеною...

Помню эту комнату на Жуковской улице, где раньше, до отъезда в Москву, жили Луговские; она была невысокая, длинная, с широким окном, посередине в длину стоял стол, некрашеный, дощатый, по бокам его - садовые скамьи, тоже некрашеные и без спинок, на столе - кувшин с розами или сиренью, или лилиями, которые мне запомнились, потому что напоминали руки Ахматовой. Тут они сидели, смеялись, острили, все обладали незаурядным чувством юмора, несмотря на беды и горе, понимали прекрасное и в любом положении не теряли чувства собственного достоинства. За окном были кусты акации и тутовое дерево. Я его не помню, но о нем сказала Татьяна Александровна Луговская, и теперь ясно, откуда в строках, посвященных мне Луговским, взялось "тутовое деревцо":

Тутовое дерево листвою
Покрывается в такую ночь луны.
Месяц встал с багряной головою,
Мимолетные жуки слышны.
Спишь ли ты у синего Салара
В доме возле лунного окна?
Тени тополей чернее вара,
Стены улицы белее полотна.
Над Ташкентом чистая прохлада
И безмолвие по улицам идет,
Только тигр рычит из зоосада
Да бубнист далекий в бубен бьет.
…………………………………………
Много ты бродил, скитался много,
Не пора ль. товарищ, отдохнуть?
Только вновь желанная тревога,
Белая дорога. Вечный путь.

Стихи написаны в Ташкенте, автограф я берегу. В них есть, как и в стихах Ахматовой, некое ташкентское свечение, да и и написаны они, вероятно, в одной и той же комнате...
Дальше я буду говорить о тени и о стихах, представляющих как бы вершину любви по своей страстности. Итак, отправимся в страну воображения: в гостиной 5 дома Козловских на Хорошинской улице появился второй профиль Анны Андреевны Ахматовой, второй ее силуэт. Очевидец рассказывает: "Когда она (Ахматова) приходила, то там, где она сидела вечером, отбрасывалась четко тень ее профиля на стене, Алексей Федорович шутя обвел ее карандашом". Профиль, профиль... Вспоминается профиль Ахматовой на контурном рисунке Модильяни, профиль Данте, профили на рукописях Пушкина. Но они сохранились на века, а вот тот - на стене пропал безвозвратно. И никто из нас не догадался его сфотографировать. Остался он о только в памяти немногих очевидцев: "...профиль на стене казался ее тенью" (В. Берестов); "В доме Козловского тоже был профиль Ахматовой" (Э. Бабаев); "Я завесила профиль куском старинной парчи" (Г. Козловская). Так все прошли мимо и не поняли, что это - чудо.
Есть еще стихи, о которых трудно говорить, но такова судьба поэтов, что даже стон, вырвавшийся из их сердца, - литературная ценность. Опять вспоминаю слова Л. Толстого из его дневника, помогавшие мне в горькие часы. Ослабеет человек - слабее воды, окрепнет - крепче камня. Самое меня укрепляющее в тяжелые минуты, это сознание того, что то самое, что мучает, это и есть тот материал, над которым ты призван работать, и материал тем более ценный, чем трудней минуты.
Стихи эти называются в сборнике 1961 года "Из восточной тетради", в книге "Бег времени" и в сборнике посмертном - "Из цикла "Ташкентские страницы", читаются они так:

В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,
Светила нам только зловещая тьма,
Свое бормотали арыки.
И Азией пахли гвоздики.

И мы проходили сквозь город чужой,
Сквозь дымную песнь и полуночный зной, -
Одни под созвездием Змея,
Взглянуть друг на друга не смея.

То мог быть Стамбул или даже Багдад.
Но, увы! не Варшава, не Ленинград, -
И горькое это несходство
Душило, как воздух сиротства.

И чудилось: рядом шагают века,
И в бубен незримая била рука,
И звуки, как тайные знаки,
Пред нами кружились во мраке.

Мы были с тобою в таинственной мгле,
Как будто бы шли по ничейной земле,
Но месяц алмазной фелукой
Вдруг выплыл над встречей-разлукой...

И если вернется та ночь и к тебе
В твоей для меня непонятной судьбе,
Ты знай, что - приснилась кому-то
Священная эта минута.

Датировано это стихотворение пятьдесят девятым годом. Неужели же пятнадцать лет жила в памяти поэта эта ночь?.. Моя интуиция подсказывает - оно могло быть написано летом сорок третьего или сорок четвертого года, когда в Ташкенте цвели гвоздики. В нем есть военные реалии: ощущение потери родины, "воздух сиротства", "ничейная земля". А какие азиатские детали - и арыки, которые особенно слышны ночью, когда поют по двум сторонам улицы, и бубен, и вдруг Стамбул с Багдадом, с месяцем, изогнутым, как турецкая алмазная лодка!
Вижу ташкентские улицы - Широкую улицу с кружевной тенью горько цветущей акации, с мостиком, около которого водопадом спадает вода, большой круглый темно-зеленый карагач на углу Гоголевской, Пушкинскую с тополями, белыми от света месяца и пахнувшими только что вымытой, влажной человеческой кожей, и с двумя каменными львами на одном из подъездов, и с тенью Чимгарских гор вдали. Лицо Ахматовой было светящимся и повернутым к небу, о котором рассказывал ей Козловский, хорошо знавший небо: ведь он написал оперу о внуке Тамерлана - звездочете Улугбеке, древнем авторе звездных каталогов, рукописей по древней астрономии, пространных, на шелковой бумаге написанных каллиграфическим арабским шрифтом. Ахматова подносила к лицу белые гвоздики, подаренные ей в доме Козловских, и как бы прятала свой внезапный румянец.
Любая подробность жизни Ахматовой, соотнесенная с ее стихами, уникальна и бесценна в добрых руках русской истории, и все любящие Ахматову должны сберечь даже незначительные черты ее характера, детали ее жизни, хранящиеся в нашей памяти и уходящие с нею. Одно письмо- лежит у меня в столе и молчит. А я думаю о тайне.
Тайна трех людей имела какой-то смысл, пока живы были ее герои. Они страдали, скрывали страдания друг от друга, отказались от проявления любви, каждодневной близости и нежности, спрятали любовь в стихи, в музыку. О тайной любви написан горчайший цикл стихов, называющийся "Cinque", что по-итальянски означает "Пять"; стихи говорят о верности сердца, о постоянстве в любви до смертного часа, помечены сорок пятым и сорок шестым годами, предпослан им такой многозначительный эпиграф из Бодлера: "Как ты сама, несомненно, будет он тебе верным и постоянным до смерти". В стихотворениях этих как бы космический полет, как бы светила, скрестившись орбитами, скользнули одно над другим, обменявшись свеченьями.

**1**
Как у облака на краю,
Вспоминаю я речь твою,

А тебе от речи моей
Стали ночи светлее дней.

Так, отторгнутые от земли,
Высоко мы, как звезды, шли.

Ни отчаянья, ни стыда
Ни теперь, ни потом, ни тогда.

Но живого и наяву,
Слышишь ты, как тебя зову.

И ту дверь, что ты приоткрыл,
Мне захлопнуть не хватит сил.
26 ноября 1945

**2**
Истлевают звуки в эфире,
И заря притворилась тьмой.
В навсегда онемевшем мире
Два лишь голоса: твой и мой.
И под ветер с незримых Ладог,
Сквозь почти колокольный звон,
В легкий блеск перекрестных радуг
Разговор ночной превращен.
20 декабря 1945

**3**
Я не любила с давних дней,
Чтобы меня жалели,
А с каплей жалости твоей
Иду, как с солнцем в теле.
Вот отчего вокруг заря.
Иду я, чудеса творя,
Вот отчего!
20 декабря 1945

**4**
Знаешь сам, что не стану славить
Нашей встречи горчайший день.
Что тебе на память оставить?
Тень мою? На что тебе тень?
Посвященье сожженной драмы,
От которой и пепла нет,
Или вышедший вдруг из рамы
Новогодний страшный портрет?
Или слышимый еле-еле
Звон березовых угольков,
Или то, что мне не успели
Досказать про чужую любовь?
6 января 1946

**5**
Не дышали мы сонными маками,
И своей мы не знаем вины.
Под какими же звездными знаками
Мы на горе себе рождены?
И какое кромешное варево
Поднесла нам январская тьма?
И какое незримое зарево
Нас до света сводило с ума?
11 января 1946

Дыхание стесняется в груди от сдержанной горечи этих стихов. Нет сомнения, что они посвящены Козловскому - тут и телефонные разговоры между Ленинградом и Ташкентом, когда в мире "два... голоса: твой и мой", и между двумя городами, столь далекими, туда и обратно летят "перекрестные радуги", и "тень", о которой мы знаем, и "чужая любовь", добавляющая свою меру горя, и "сожженная драма" - "Пролог", к которой Козловский писал музыку и которая, как сказано в стихах, оказывается, была ему посвящена.
К шестидесятилетию Козловского, в свой предсмертный год, Ахматова послала ему из Москвы в Ташкент свою книгу "Бег времени", где уже были инициалы "А. К." и многие стихи из приведенных мною. О некоторых Козловский, может быть, и не знал. Книгу отвез А. Г. Найман, он был у них в домике на Авиационном проезде, где жил журавль с перебитым крылом, ел на террасе гранаты и не понимал, что присутствует при чуде; вот гранаты запомнил.
До этого прошли тяжелейшие для Ахматовой годы, которые она перенесла с привычным ей мужеством, - и годы всемирной славы, не только на Родине ей поклонялись... А в трудный для нее сорок шестой год в Фонтанном доме она писала такое четверостишье:

Дорогою ценой и нежданной
Я узнала, что помнишь и ждешь,
А быть может, и место найдешь
Ты - могилы моей безымянной.

Козловский, узнав о смерти Ахматовой, не спал всю ночь, сидел у открытого окна, вглядываясь в темноту. О чем он думал? Может быть, вспоминал, как однажды позвал Анну Андреевну погулять в близкий от ее дома парк имени Тельмана. Она вышла из Жуковского дома в каком-то неизвестном ему шелковом платье с голубоватыми, розоватыми и зеленоватыми оттенками. Она была так хороша, так молода, что он задохнулся от счастья. "Что с вами?" - спросила Анна Андреевна. "Вы так хороши, что сбиваете меня с ног!" - пошутил он. "Давайте, поддержу", - засмеялась Ахматова, протянула руку,и так рука об руку они пошли по летним певучим улицам. Им путь заступали черные чинары, каштаны с венчальными свечами белых цветов, молодая поросль кленов. В парке они сели над Саларом в тени орешины на мостки старой чайханы с выцветшими ковриками. Анна Андреевна облокотилась о ствол дерева, говорила о море, о низком береге около Херсонеса, о плоском камне, где любила лежать, приманивая рыб и чаек. Он смотрел в ее удлиненные, а сейчас лукавые глаза, на тихие руки, на блики солнца, падающие сквозь листву ей на плечи, и думал, что этот образ сохранит на всю жизнь. Так и получилось... Перед глазами стоял этот живой и теплый образ, когда Ахматова, уже мертвая, продолжала свое странствие - из санатория "Домодедово", где она умерла, в Склифосовский морг, потом самолетом из Москвы - в Ленинград, в зал Союза писателей, потом - в Никольский собор, где была панихида, и в скромное свое Комарове. Там (и в Москве у Ардовых) провела последние годы. При жизни спала в "комаровской будке", не на кровати, не на диване, а на матрасе с деревянными ребрами и кирпичами вместо ножек. Вот вам и "теплый образ"... Странница и страдалица. Трагической была и постоянная дума и забота о единственном сыне - Льве Николаевиче Гумилеве, который жил отдельно от нее. Как при жизни была бездомна и обездолена, лишена заботы близкого человека, так и мертвая...
Это было высокое одиночество поэта, гордое и целомудренное, в жизни, как и в стихах, ибо процесс творчества в поэте непрерывен, как в природе, все скрыто и все бессмертно. Недаром Чехов говорил, что там, где искусство, где талант, там нет ни старости, ни одиночества, ни болезней, и сама смерть - вполовину.
Козловские прилетели из Ташкента на могилу Ахматовой, покрыли ее ташкентскими розами. Это был последний случай, когда они снова оказались втроем...
Теперь я вернусь к тени, к тому, что логически завершает ташкентскую поэтическую тему в произведениях Ахматовой, к стихам и трагическим, и философским, и написанным как бы с юмором, так, когда смеются над собой, чтобы скрыть слезы.
И наплывают, как тяжелые волны Белого моря, плотные волны ямбического белого стиха:

А в книгах я последнюю страницу
Всегда любила больше всех других, -
Когда уже совсем неинтересны
Герой и героиня, и прошло
Так много лет, что никого не жалко,
И, кажется, сам автор
Уже начало повести забыл,
И даже "вечность поседела",
Как сказано в одной прекрасной книге,
Но вот сейчас, сейчас
Все кончится, и автор снова будет
Бесповоротно одинок, а он
Еще старается быть остроумным
Или язвит - прости его Господь! -
Прилаживая пышную концовку,
Такую, например:
...И только в двух домах
В том городе (название неясно)
Остался профиль (кем-то обведенный
На белоснежной извести стены),
Не женский, не мужской, но полный тайны,
И, говорят, когда лучи луны -
Зеленой, низкой, среднеазиатской -
По этим стенам в полночь пробегают,
В особенности в новогодний вечер,
То слышится какой-то легкий звук,
Причем одни его считают плачем,
Другие разбирают в нем слова.
Но это чудо всем поднадоело,
Приезжих мало, местные привыкли,
И, говорят, в одном из тех домов
Уже ковром закрыт проклятый профиль.

Вот и закончился на слове "профиль" прибой прощального стихотворения, медленного, как морские волны, сквозь которые просвечивает такая глубина горя, что стесняется дыхание, последнего стихотворения ташкентского романа в стихах. Датировано оно 25 ноября 1943 года, опубликовано в журнале "Знамя" в шестьдесят четвертом году под названием "Баллада", а окончательный текст его был в предсмертном сборнике Ахматовой.
Жена Козловского действительно завесила профиль Ахматовой парчой, и когда Анна Андреевна услышала об этом, то сказала: "Какая пышность для призрачной тени".
А жизнь придумала более потрясающую и трагическую концовку: прогремело землетрясение, разрушило все старые дома, с коврами и без них. И эти два разрушило. И тень Ахматовой, втайне от всех, вместе с обломками домов вросла в ташкентскую землю. А потом приехали на помощь Ташкенту строители со всех республик, молодые их руки разровняли, заасфальтировали, застроили стеклобетонными небоскребами землю, где была зарыта тень Ахматовой.
И ничего не осталось от ахматовской тени: ни очертания, ни микрочастиц, ни надежды на то, что где-то живет своей, пока неведомой нам жизнью, ее отражение как некая

1
Синее, синее даже ночью, ташкентское небо. Открытое, с низкими звездами азийское Небо, как купол храма, с синей поливой, где запеклись лунные отсветы. И горы... Горы. Как острозубые башни этого храма. Белый горный снег, черные провалы ущелий - горностаевая мантия нетающих ледников. Горы грубы своей угловатой мощью и нежны в синеве, летят и не улетают, окаймляя ночное небо.
Подул ветер, холодный от горного дыханья, теплый от цветенья долины. Вдохните этот ветер - и будете навек счастливым и юным!.. Черные чинары. Белые тополя. Ветки над головой, и каждая ветка приветлива, наклоняется к тебе, будто хочет погладить по голове усталого путника. А над земляными крышами старого города колышутся белые цветущие деревца, как лунные танцовщицы, исполняющие свой звенящий на ветру восточный танец. Понизу же плывет наивная песенка воды в арыках.
Таинственно пахнет индийский нард, именуемый черным райхоном; пряно пахнет, волшебный для голодного, плов с прозрачными зернами риса, резко-дикая мята, томно-мелкие красные розы и особенно тепло-румяные лепешки над красными углями тандыра.
Душистая тьма без просвета и лунный свет без тени. И вдруг громко бьют в бубны падающие со скал гладкие камни, а горные реки, как сказочные джигиты в серебряных доспехах, блещут синими молниями, охраняя вход в угрюмое горное урочище.
И в этой ночи по белой в тополях, дымящейся от лессовой пыли улице Жуковского шла высокая женщина, ленинградская беженка, в стоптанных башмаках и ветхой шали. Над ней как будто еще было другое небо, то, что за тысячи километров отсюда, черное и кроваво-красное, в бомбовом потоке, истребляющем города, людей, деревья на огромном, горячем от пролитой крови пространстве.
Она потеряла все, пережила полное сиротство, не было у нее ни дома, ни дыма, ни своего угла, ни пропитания, ни одного человека, для которого она была бы всем на свете. А было - собственное достоинство, были высота человеческого духа, тайна словотворчества. Она умела делать людей счастливыми, дарила нравственную силу, сопротивление злу и неправде.
Поэтому она и в нелегкой доле своей владела богатством.

*Лишь хвойная ветка да солнечный стих,
Оброненный нищим и поднятый мной...*

Так она определила свое богатство. И следы ее на ташкентской земле и в душах людей - были и остались!
2
Много лет я живу стихами Анны Ахматовой, памятью о часах, проведенных рядом с нею. Отталкивала свои строки о них, оттого ли, чтоб не тревожить светлую тень, или оттого, чтоб самой не высвечиваться ее светом. А может быть, зрели думы и только сейчас стали двигать перо по бумаге.
Прежде чем я в Ташкенте увидела Анну Андреевну, мне принесли ее стихи, написанные на тетрадных листках четким, с наклоном вправо, детским почерком. Подумалось, что стихи переписывала школьница, но это был ее неповторимый почерк, не такой уж детский, если приглядеться. Кто принес, не помню, но произошло это потому, что я работала в Союзе писателей консультантом и собирала стихи для альманахов.

Побежала к Ахматовой.

Это был ноябрь сорок первого года. Поздняя осень или зима по-ташкентски, схожая с осенью, когда голые деревья, мокрые листья в грязи, серый свет, пронизывающие сквозняки...
Дом на улице Карла Маркса около тюльпановых деревьев, посаженных еще первыми ташкентцами. Двухэтажный дом, в котором поселили эвакуированных писателей. Там были отдельные комнаты, не общежитие, как пишут в примечаниях к книге Ахматовой 1976 года. Непролазная грязь во дворе, слышный даже при закрытых окнах стрекот машинок. Во дворе справа лестница на второй этаж, наружная. Вокруг всего дома открытый коридор, и в нем двери. Дверь Ахматовой.
На кровати - Анна Андреевна, закрытая чем-то серым: она болела. Белые, невероятной чистоты линий открытые руки, усталые глаза, а на губах - легкая улыбка. Она заметила, что я смутилась, и как бы ободряя меня, сказала: "Ничего, сейчас все пройдет". Протянула свою нежную руку - и огонь в печке загорелся. Я не помню уже, о чем говорили, не помню ни дыма, ни холода, ни Тревоги, ни бедности, а только ее глаза. Они не светились, но в них был внутренний огонь такой силы, что, кроме ее глаз, ничего не существовало. Своим негромким, чуть ироническим голосом, медленно произносящим обычные слова, а иногда особенно звеневшим, она читала стихи.
Да, в тяжкие дни войны, в тревоге, в бедности, в холоде и болезни она читала стихи впервые увиденной неизвестной женщине! Звучали слова "И в пестрой суете людской...", "Легких рифм сигнальные звоночки", "Ноченька! В звездном покрывале...". Тогда же она мне их дала, и мы с Луговским включили их в сборник "Родной Ленинград", который тогда выпустили.
Теперь смотрю на свои опухшие сморщенные руки и думаю: "А ведь вы, мои руки, молодцы, это вам из ладоней в ладони дала Ахматова свои первые в Ташкенте стихи для печати. Гордитесь, бедные старые руки!".
3
А потом я помню Ахматову на Пушкинской улице летом. Я увидела ее, если идти от центра по левой стороне, около белых с зеленым отливом глянцевитых стволов старых тополей. Она была в белом платье, веселая, лунные блики от тополей скользили по ее фигуре. Рядом шли Корнелий Люцианович Зелинский и Виктор Максимович Жирмунский, который составил и отредактировал первое научное издание стихов Ахматовой, вышедшее в Ленинграде после ее смерти.
Я смотрела, как поворачивались то серой, то зеленой стороной листья тополей и тени скользили по удивительному, как-то согласующемуся с ними облику Ахматовой. Шли мы в "Тамару Ханум", такое прозвание получил дом, где до войны была балетная школа имени Тамары Ханум, а потом в нем помещалась Ленинградская консерватория, жили музыканты и профессора. Там в зале Алексей Николаевич Толстой читал свою новую пьесу об Иоанне Грозном.
Толстой был весьма значителен со своей львиной, откинутой назад головой и то мягким, то рокочущим голосом. Особенно запомнилось, как он читал ласковые, обращенные Грозным к жене слова, "лебедушка", и поглядывал на потупившуюся Людмилу Ильиничну. Сцена, где Грозный у гроба отравленной жены вглядывается в лица, ища убийцу, показалась вершиной драматизма.
Анна Андреевна на обратном пути сказала задумчиво: "Вот, как будто благополучный и уверенный в себе человек, а внутри - такая тоска по любви. Добротная речь и острый сюжет - все, что нужно для счастья".
Было бы преувеличением счесть, что только благодаря Алексею Толстому улучшилось положение Ахматовой: звонили из обкома Ленинграда - осажденного Ленинграда! - как там наша Ахматова? Много помог ей и Хамид Алимджан, секретарь Союза писателей, после опубликования в "Правде" стихотворения "Мужество", которое он считал шедевром русской военной лирики. Стихи эти были очень популярны в Ташкенте. Ахматова и сама охотно их читала на вечерах, в госпитале, дома. Но если они написаны в Ташкенте 23 февраля 1942 года, то очень уж короткий промежуток до напечатания в "Правде" - 8 марта. Или переданы стихи по телефону через корреспондента?.. С голоса Ахматовой я помню их немного не так, как опубликованы, в последней строфе есть расхождение.

*Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, -
И мы сохраним тебя русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
От плена избавим, от смерти спасем
И внукам дадим
Навеки!*

Так читала Ахматова и так, с ее голоса, живет стихотворение в моей памяти. Мне думается: это интонационно выразительнее принятого, добавляет какую-то новую краску: не "от плена спасем навеки", а "внукам дадим навеки". Это - портрет писателя времен войны: не страшно умереть и остаться без крова, жило бы только родное русское слово, за свободу и чистоту которого, за вечную жизнь которого несет ответственность писатель.
4
Помню зал Военной академии имени Фрунзе. Запах натертого пола и новых гимнастерок, яркий свет. Ахматова читает стихи. Строгая, стройная, в чем-то темном. Тогда не было микрофонов, и мы все перед аудиторией старались усилить голос, почти кричали. Но Ахматова читала тихим голосом. И благоговейная тишина сразу ее окружала при первых словах: "Мы знаем, что ныне лежит на весах..." Такова емкость ахматовского слова. Передо мной встают лица офицеров, вначале официальные, а потом как бы согретые душевным теплом. Гул одобрения, гром аплодисментов. Ахматова не кланялась в ответ, она слегка наклоняет голову, рукой как бы отстраняла шум особым жестом, снимающим аплодисменты, и читала стихи дальше.

*Один идет прямым путем.
Другой идет по кругу
И ждет возврата в отчий дом,
Ждет прежнюю подругу.
А я иду - за мной беда.
Не прямо и не косо,
А в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.*

В этом стихотворении была, как бы предсказана трагическая зыбкость человеческой жизни на войне и мужественное приятие ее, обрыв стиха и обрыв жизни, - это брало за душу. Судьба этого восьмистишия - как вершины военной лирики - интересна, я к нему вернусь дальше, а тут скажу только о его воздействии на слушателей. Оно потрясало, как удар грома. Оно, при кажущейся пессимистичности, звало к борьбе. Чем? Своей строгой правдой, осознанием трагедии и стремительностью, ее побеждающей.
В годы войны Ахматова - жила жизнью активной и патриотической.
На этом вечере в Военной академии были Гафур Гулям и Иоганнес Бехер, Хамид Алимджан и Якуб Колас, Шейхзаде и Эмиль Мадарас, Владимир Луговской и Иосиф Уткин, Николай Ушаков и Николай Погодин. Я читала там стихи Шейхзаде о Гастелло:
*Есть такие жизни, что жалки и чахлы,
Как кустарник серый вымерших песков,
И бывают смерти пламенным началом
Гордого бессмертья на века веков.*

И на лицах этих людей, среди которых была и Ахматова, на лицах этих мечтателей, восставших против смерти, мрака, фашизма, лежал отблеск от того - во имя жизни горящего самолета и человека.

5
Писатели часто шли со своими стихами, рассказами в госпитали. Ахматова тоже ходила.
В госпиталях тогда лежали изувеченные больные, нередко без рук и без ног. Санитарки и сестры самоотверженно за ними ухаживали, называли их, по русской привычке, не поддаваться горю, "самоварчиками". И вот в одной большой палате (бывший класс школы, занятой госпиталем) лежал такой горько страдающий молодой человек. Мы боялись к нему подходить, чтобы не задеть своим сочувствием; он все время молчал, не отвечал на вопросы, сестры по глазам догадывались, что ему бывало нужно.
Ахматова сразу подошла к нему, молча села около кровати. Я не видела ее глаз, но, верно, они были горькими. А потом она стала тихим голосом читать стихи о любви - "Годовщину последнюю празднуй...", "Я с тобой не стану пить вино...", "Как белый камень в глубине колодца..." и другие.
Непонятно было, как и зачем читать такие стихи полуживым людям. Но в палате стало тихо. Лица разгладились, посветлели. И этот несчастный юноша вдруг улыбнулся. Тело-то ранено, жизнь висит на волоске, а душа - живая, отзывается на любовь, на правду... Анна Андреевна часто приходила к этому юноше, которого полюбила. Как она рассказывала потом, одна из молоденьких и хорошеньких сестер, потерявшая на войне всех близких, взяла его к себе после госпиталя, вышла за него замуж. Анна Андреевна, которую он почему-то называл своей спасительницей, бывала у них в гостях, помогала им. Так одно горе, столкнувшись с горем другим, пережитые совместно, становятся чем-то даже крепче счастья.
В ташкентское военное захолустье были эвакуированы писатели со всей страны. Из Союза писателей, как драгоценность, они несли домой в банках затируху, а в кабинете оргсекретаря П. Д. Германа лежал список "ведущих писателей - на тыкву". В столовой иные старались первыми схватить кажущийся на миллиметр побольше кусочек черного хлеба, может, именно тогда особенно обнажилось высокое и низкое в человеке. Но Ахматова и здесь несла свой мир Правды и Поэзии.
6
В Ташкенте темно - электроэнергию экономили. В нашей комнате дымила коптилка (фитилек в постном масле в одеколонном флаконе), чавкала бородатая коза, купленная, чтоб не голодали дети; тени метались по стенам. Нищета и запустение... Но в этих нищенских тенях возникала праздничная царскосельская девушка с кувшином, ее ослепительная стройность и незябнущие ноги, которые она поджала, сидя на северном камне. А где она сейчас? Уберегли ли ее от фашистского нашествия?.. И мягче становилась душа, распрямлялись сведенные от холода пальцы; повторяли стихи. Нет, красота в искусстве - активная политика, ибо противостоит бездуховности, подлости, смерти! Но, вероятно, надо много прожить и прострадать, чтоб понять это.
В той же комнате в Мельничном переулке, только без козы, которая паслась в садике, без коптилки, так как дали электричество, Анна Андреевна Ахматова в день моего рождения, 30 апреля 1943 года, читала "Поэму без героя". Уже цвели ташкентские розы, и запах их странно контрастировал с горькими строками:
*А не ставший моей могилой,
Ты. Крамольный, опальный, милый,
Побледнел, помертвел, затих.
Разлучение наше мнимо:
Я с тобою неразлучима,
Тень моя на стенах твоих...

...Мне казалось, за мной ты гнался,
Ты, что там погибать остался
В блеске шпилей, в отблеске вод.
Не дождался желанных вестниц...
Над тобой лишь твоих прелестниц
Белых ноченек хоровод.*

Описание города как человека (милый, побледнел, помертвел, затих), ощущение военного Ленинграда и своей общности с ним, нежная, хоть и траурная, красота родного города глубоко, до слез волновали... Через два месяца я уезжала на фронт, думали, что на Ленинградский. Меня провожала музыка ахматовского голоса. Как описать ее? Описать эту магию?.. Голос был тихим и не певучим, а со сдержанной силой. Она не подчеркивала слов и интонаций, а как бы нарочно подсушивала звук, словно дальний ветер в пустыне, и от этого строгая любовь ее становилась еще убежденней. Старики (Александр Николаевич Тихонов, Городецкий или Чуковский, не помню, кто) говорили, что у всех великих женщин - Сары Бернар, Веры Комиссаржевской, Ахматовой - были голоса "с трещинкой", что придавало им особое обаяние.
Так и остался в памяти от того вечера (в общем нелегкого для меня) запах красных роз, голос Ахматовой и пушистые головки моих детей, которые она гладила своей несмелой рукой. Тогда она подарила мне свою книжку, которую называла ласково "моя азиатка", и надписала: "Светлане Сомовой дружески. А. Ахматова".
7
А за полгода до этого Ахматова заболела, как оказалось, брюшным тифом. Она металась по кровати, бредила, лицо было красным и искаженным. "Чужие, кругом чужие! - восклицала она, брала образок со спинки кровати: - На грудь мне, когда умру..." И какие-то бледные беспомощные женщины были вокруг...
Я бросилась к Бусселю. Буссель Григорий Аронович - чудесный черноглазый человек с ироническим лицом, известный терапевт, тогда уже доктор медицинских наук, руководил больницей в Ташми.
Он немедленно пошел со мной на улицу Карла Маркса, осмотрел Ахматову и взял к себе в больницу: Анна Андреевна в больнице написала такие трудные стихи:
*Где-то ночка молодая,
Звездная, морозная...
Ой, худая, ой, худая
Голова тифозная.
Про себя воображает,
На подушке мечется,
Знать не знает, знать не знает,
Что во всем ответчица,
Что за речкой, что за садом
Кляча с гробом тащится.
Меня под землю не надо б,
Я одна - рассказчица.*

Наверное, одно из главных слагаемых в характере Ахматовой - сила сопротивления. Таковы все ее стихи, как отметил А. Межиров: в них сила сопротивления злу, предательству, малейшей неправде, неверности и, наконец, смерти. Ахматова - поэт сопротивления. И в этих бредовых строчках, чистых и очень русских, как бы фольклорных по языку - сила борьбы с болезнью, со смертью. Тут и горький юмор - "про себя воображает", и болезненность - "знать не знает", "мечется", и грубое реалистическое явление смерти - "что за речкой, что за садом кляча с гробом тащится...". Я так и вижу ташкентский зимний пейзаж: обмерзшие голые деревья, заскорузлые глиняные берега речки и клячу с гробом.
Но Ахматова сказала: "Меня под землю не надо б", и победила. Она поправилась довольно быстро, и худая, с черными четками на шее и сохранившейся челкой, которую хотели остричь, а она не дала, улыбалась мне и Григорию Ароновичу в коридоре больницы.

Затем наступил сорок третий год, вышла книжка в "Советском писателе" - это был филиал издательства, с главным редактором Александром Николаевичем Тихоновым и милейшим секретарем Раисой Альбертовной. Руководил издательством художественный совет во главе с Алексеем Толстым. А помещалось это издательство из трех человек в Союзе писателей, в темной комнате с окном на террасу. Но работало оно в полную силу, выпустило около 50 сборников русских и узбекских (на русском языке) писателей. Тогда же оно было награждено специальными почетными грамотами Верховного Совета Узбекской ССР, текст был такой (списываю со своей грамоты от 30 августа 1943 г.): "За большую работу по переводу на русский язык и изданию лучших произведений узбекской литературы". Грамот было пять, награждены были: директор, А. Тихонов, А. Толстой, Хамид Алимджан и я. Попала я в этот блестящий ряд, когда была на фронте, а в издательстве вышла в моем переводе пользовавшаяся тогда успехом поэма Алимджана "Зейнаб и Аман".
8
Не могу не вспомнить с нежностью и благодарностью Александра Николаевича Тихонова (он писал воспоминания под псевдонимом Серебров), сыгравшего большую роль в русской литературе. Редактор Чехова и Горького, скромнейший и благороднейший работник, он с уважением относился к Анне Андреевне, дружил с нею, редактировал ее книжку, и она относилась к нему с полным доверием. Такой, как у него, работоспособности, доброжелательного внимания к слову и к тому, кто его создает, я не встречала в жизни. Когда я, привыкшая к газетной "циклевке" текстов, спросила, почему так мало замечаний по переводу поэмы, он ответил, что со временем я буду писать иначе и стиль изменится, а все индивидуальные особенности языка писателя неповторимы и бесценны для редактора и исследователя.
Он глядел из-под бровей, как Дед Мороз, серо-синими глазами, мягко что-то говорил, и все, включая Алексея Толстого и К. Чуковского, прислушивались к нему и слушались его. Говорили, что его любили прекрасные женщины, а он любил Марию Федоровну Андрееву, жену Горького, жил один и умер (я была у него в Москве перед смертью) в тяжком одиночестве, парализованный и в полном сознании. А тогда, в годы войны, в Ташкенте, когда я только начинала печататься, только вступила в Союз писателей, Тихонов и Ахматова были моими любимыми учителями, они благожелательно относились к моим опытам. Своим взыскующим отношением к слову и своим душевным миром они являли пример людей, считающих писательскую работу священной и всем жертвующих для нее. Александр Николаевич говорил, слушая меня: "Откиньте тысячи строк, которые вы перевели, как поэт вы начинаетесь не с них, а с эпитета "рябоватый" в стихах о каганце". Он разглядел авторскую интонацию в груде необязательных слов, а я сорок лет помню это. Однажды они с Ахматовой пришли ко мне в избушку между трав и красных лилий. Это было утром, и я решила угостить их клубникой с козьим молоком и сахаром. Казалось, царское угощение, но Александр Николаевич в ужасе отвернулся: не ем клубники, идиосинкразия. Пришлось ему пить козье молоко с черным хлебом, а Ахматовой досталась вся клубника. Оба были довольны.
В добрых отношениях Ахматова была и с Владимиром Луговским, ее рыцарем и почитателем; он целовал ей руки, провожал, поддерживая за локоток, но такова была сила воздействия Ахматовой, что когда они шли рядом - хрупкая немолодая женщина и широкоплечий мужественный мужчина, казалось, что он опирается на нее, а не наоборот.
Луговской (мой крестный отец в поэзии, давал мне рекомендацию в Союз писателей) был тогда не тем победоносным и ярким, каким знали его в Москве. Война его изувечила. У него была контузия и глубокий нервный стресс, усиленный тяжело пережитой болезнью его матери, которая умерла на его руках. Когда ее хоронили, Луговской сказал: "Светлана, брось цветы в могилу впереди гроба. У Луговских так принято". И Ахматова тоже бросила свой цветок в эту могилу.
Понемногу Луговской начал приходить в себя, писать, выступать, редактировать сборники стихов, которые я составляла, переводить узбекских поэтов; тогда, в Ташкенте, он написал свою замечательную поэму "Середина века".
Когда они с Ахматовой читали стихи на Жуковской у Елены Сергеевны Булгаковой, которая много помогала им обоим, - это был эстетический праздник. Елена Сергеевна сберегла все рукописи своего мужа, она умела в те тяжелые годы создать для сына и своих друзей подобие уюта - опрятность, хорошо заваренный чай, крахмальное белье. Она читала еще не изданный роман - "Мастер и Маргарита" Булгакова.
9
Тогда, во время войны, в смятении чувств и испытаниях сердец, я впервые узнала цену старой русской интеллигенции, особой породы людей, умевших в любом положении сохранять собственное достоинство, жить миром интеллектуальных ценностей, презирать быт, а когда пришла война - всем жертвовать для победы, жить и умирать вместе со своим народом. Так сказала как бы о них и о самой себе Анна Ахматова:
*А здесь, в глухом чаду пожара,
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезной,
Надменнее и проще нас.*

Эти люди со сложной судьбой, когда грянула беда, встали на борьбу с фашизмом, шли на муки и смерть во имя Родины. Таким предстает передо мной образ Елизаветы Кузьминой-Караваевой, родственницы Ольги Караваевой, которой посвятила стихи Ахматова. Поэтесса, автор сборника "Скифские черепки", корреспондентка Александра Блока, потом эмигрантка, монахиня, борец французского Сопротивления, подпольщица, заключенная в фашистском концлагере, и жертва фашизма - какие немыслимые контрасты! Я вижу гестаповские застенки, камеру, набитую голодными, измученными людьми, обреченными на смерть и среди них женщину, которую называли матерью Марией, читающую ясным влюбленным голосом стихи Блока, даже по пути на казнь, на которую пошла, спасая молодую женщину. А рядом тень ленинградской ноченьки в звездном покрывале, в траурных маках, с бессонной совой. Тень эта сливается с матерью Марией в черном одеянии...

Нашелся бы литературовед, посвятивший жизнь исследованию внутреннего мира Ахматовой, ее литературным и житейским связям, ее друзьям! Тут надо спешить, пока живы ее современники. Многие "друзья последнего призыва" - уже в небытии, да и мы, следующее поколение, близки к нему.
10
В Ташкенте узбеки продавали кислое молоко особого вкуса и закваски: если прикоснуться ложкой, оно трескалось, как густой кисель. Носили его в глиняных корчажках или эмалированных ведрах и кричали: "Кис млеко", почти пели высокими голосами, которые я помню с детства. Однажды в коридор к Анне Ахматовой на улице Карла Маркса поднялся такой продавец. Он был красновато-смуглым, с венчиком седых волос и в тюбетейке, окруженной грязноватой белой тряпицей, наподобие чалмы. Дамы высыпали из дверей, стали балагурить, а старик за лишнюю ложку молока пытался их ущипнуть. Смех и шум. Вдруг старик остановился, сказал: "Джим… Мулла!" ("Джим" значит тише). Оказывается, это открыла дверь Ахматова, и в ней этот кишлачный старикашка с первого взгляда признал нечто высокое, чем был в его понимании мулла.
Появилась Ксения Некрасова в своем лохмотьевом пальто и с котомкой, полной интереснейших стихов, пришла к Ахматовой, сказала: "Я буду у вас ночевать". Вы, мол, на кровати, а я на полу, только дайте мне свой матрасик. Потом она попросила одеяло, потом - подушку, и Ахматова ей все отдавала. "Ну что ж, - говорила Анна Андреевна, - Ксения считает, что если она поэт - ей все можно. А она - поэт". Потом Ксения покусилась на кровать Анны Андреевны, и не знаю, чем бы все это кончилось, если бы она не нашла себе более удобного жилища.
Ксения Некрасова посвятила Ахматовой удивительные стихи: "И ложатся под ноги ей тени облачками, львами с гривами цветов" (приведено Л. Рубинштейном в "Московском литераторе"). Она была святая в неукротимой преданности своему стихотворству и в кочующем, странническом образе жизни, но она нигде не работала, вынуждая других работать за себя.
Ахматова почему-то попросила меня выступить вместо нее со вступительным словом на вечере Ксении Некрасовой в Академии наук: "Я пообещала Мейлаху, но мне не хочется". Мне тоже не хотелось. Но Ахматова просила настойчиво, и я сделала, как она желала.
11
Ахматова обладала невероятной интуицией, тем, что теперь называют телепатией. Даже смерть свою она, по свидетельству В. Я. Виленкина, как бы предчувствовала: "Я ненадолго", - сказала она по телефону, отправляясь в санаторий за два дня до смерти.

*Я давно не верю в телефоны,
В радио не верю, в телеграф.
У меня на все свои законы
И, быть может, одичалый нрав.

Всякому зато могу присниться,
И не надо мне лететь на "ТУ",
Чтобы где попало очутиться,
Покорить любую высоту.*

Так писала она о себе, об этом странном своем свойстве. В ней был особый ритм - в стихе, во взгляде, в голосе, в движении, и вы невольно впадали в нее, как ручеек в многоводную реку, и жили ее верой, не верой в бога (хоть она и была глубоко религиозна), но верой в жизнь, в человека, в высшее его предназначение.
В памяти возникает лицо Ахматовой, но оно неуловимо для словесного выражения, ускользает, дробится, и, право, нет слов для описания чуда этого лица. Всматриваюсь в портреты; разная она на всех изображениях и особенна в своей сложной простоте, как поперечная черточка на маленькой букве "а", означающей букву большую ее подписи.
Вот профиль на фото двадцатых годов работы М. С. Наппельбаума - молодая горделивая женщина с темной челкой, и черными четками, в нарядном платье с круглым вырезом. Тут линия античного профиля, и только в глазах полуопущенных, в темных подглазьях и напряженных жилах прекрасной шеи - трагизм. Уже тогда - трагизм, не сильнее его непреклонная победительность юного облика. Почти на всех портретах у Ахматовой - полураскрытые глаза, полуопущенные веки. Вспоминается старинное слово "волоокая", означающее вот такие большие и выразительные, загадочно глядящие глаза. Потом портрет, рисунок Н. А. Тырсы в 1928 году, тот же, но повернутый другой стороной, четкий горбоносый профиль, более мягкое лицо, лицо, хранящее тайну доброты, таинственно опушенные - продолговатые глаза, губы нежные, как два лепестка розы, сдвинуты, как будто таят что-то гладкое, с острым вырезом черное платье. Очень выразителен рисунок А. Г. Тышлера в Ташкенте в 1943 году. Торопливые скользящие линии. Тот же профиль, но с глазами, глядящими прямо. Полосатый костюм (я его не помню у Анны Андреевны, может быть, кто-то наряжал ее), терпеливо и спокойно опущенные руки, терпеливое лицо и черная цепь четок на высокой певческой шее. Фигура, натянутая, как струна, и только левая ножка в черной узконосой туфле беспомощна в своей почти детской наивности.
А еще - властный и нежный рисунок Амедео Модильяни на суперобложке книги "Бег времени", склоненное вниз лицо, руки, как распущенные крылья орлицы, будто бы оберегающие стихи в этой книге. Все это лишь намек, пунктир, но в этом и сила художника. Четыре разных изображения, четыре Ахматовых. Но, думается, - в том, как я их описываю, как вижу глазами, помнящими Ахматову, есть и мое виденье.
Александр Блок уловил изменчивость "блика Ахматовой в стихах, ей посвященных ("Красота страшна...", "Красота проста...", "Я не так страшна, чтоб просто убивать; не так проста я, чтоб не знать, как жизнь страшна"), но даже он, со свойственной ему прозорливостью, не увидел ее трагического будущего, титанической силы духа, воли к жизни, бескорыстного служения человеку, русскому слову.
В моей памяти на четыре разных профиля, о которых шла речь, как бы наплывают еще два силуэта, виденные мною при жизни Ахматовой в Ташкенте, обведенные на беленых стенах вокруг головы Ахматовой, в двух домах - на улице Карла Маркса и на Жуковской улице. Про эти силуэты Ахматова писала:
*А в книгах я последнюю страницу
Всегда любила больше всех других...
...И только в двух домах
В том городе (название неясно)
Остался профиль (кем-то обведенный
На белоснежной извести стены),
Не женский, не мужской, но полный тайны.
И, говорят, когда лучи луны -
Зеленой, низкой, среднеазиатской -
По этим стенам в полночь пробегают,
В особенности в новогодний вечер.
То слышится какой-то легкий звук,
Причем одни его считают плачем,
Другие разбирают в нем слова...*

Я видела эти два профиля в присутствии Ахматовой. Один - на улице Карла Маркса, на втором этаже, на беленой голой стене, налево от двери - был обведен тонким черным карандашом. Горела на потолке тусклая электрическая лампочка без абажура, двигались тени. Ахматова сидела на стуле, этот профиль казался как бы ее тенью. Он был печально склонен, и горькая складка угадывалась в линии сжатых губ: "Это вы?" - спросила я Ахматову. Она развела руками, как бы снисходительно к тому, кто это сделал. Почему я постеснялась спросить - кто? Дом этот разрушен ташкентским землетрясением, на его месте выстроен новый, и никто не помнит, что тень Ахматовой обрушилась вместе с обломками дома и лежит в ташкентской земле.
12
Второй силуэт я видела на Жуковской улице, в одноэтажном доме, налево от ворот, где раньше жил Луговской, в той комнате, которая описана в стихах "Как в трапезной...", на белой извести стены против окон. Он был совсем в другой проекции и написан более плотными, как бы темно-коричневой пастелью, линиями. Подбородок был приподнят, нежна линия шеи, гордая посадка головы, и на губах легкая улыбка. Вспоминался стих: "У меня есть улыбка одна: так, движенье чуть видное губ". Плавные, как бы певучие движения линий. Кто писал, я опять постеснялась спросить, но сейчас думаю: Козловский, тем более что, оказывается, и у него в доме был профиль Ахматовой.. Мне видится: Анна Ахматова сидела в белом платье на жёстком стуле, а Алексей Козловский пристально на нее смотрел и водил своей рукой с чуткими музыкальными пальцами по белой стене. И стена запела: "И зацветает ветка над стеною".
У Козловского был открытый лоб, глаза серые, лучистые и насмешливые, рот упрямо сжат, во всем облике - сдержанная страстность, он не был заметен сразу - невысокий, скромный, может быть, даже тихий, но, взглянув на него раз, хотелось вглядеться, а чем больше вглядывались, тем интересней, значительней казался человек, живущий в своем мире - мире музыки.
Ахматова часто у них бывала, встречала с ними Новый год, даже с журавлем познакомилась по телефону - он кричал из Ташкента, а она из Москвы отвечала что-то по-журавлиному. "Дружба была долгой, не меркнущей ни с годами, ни от расстояний... И с каждой встречей росло удивление перед чудом ее естества, поэтического, человеческого и женского. Ее вечная женственность была также великим даром, отпущенным Богом, как и поэзия" - так пишет в письме об Ахматовой Г. Л. Козловская.
Как бы хотелось собрать музыку Козловского на стихи Ахматовой и издать альбом с нотами и ее фотографиями!

Ахматова сказала с любовью и надеждой о нас с вами, о читателе:
*А он неизменен и вечен -
Поэта неведомый друг.*

И вот на правах этого неведомого друга (у меня не было дружбы и короткости с Ахматовой в обычном смысле этого слова, я ее не расспрашивала, о чем теперь жалею, но я была обычным читателем и свидетелем ее жизни в годы войны), так вот: на этих правах я стараюсь вглядеться в ее черты, в поступки, записать все, что помню, большое и малое.
13
Как-то пошла я на Алайский базар продавать какую-то тряпку (у меня украли хлебные карточки и дети голодали без хлеба), и Ахматова почему-то пошла со мной. Базар благоухал вкусными запахами, поражал пестротой и изобилием фруктов, тут были горы золотистых дынь, медовых слив, синих баклажан, и над всем этим стоял заставляющий облизываться запах жареной самсы (собственно, печеной на поду, а не жареной) - это были оранжевые пирожки с мясом, луком и бараньим салом, вкусноты невероятной. А с двух сторон стояли люди, держащие на руках вещи, которые продавали. Стоять среди них с куском сатина, да еще при Ахматовой, было невозможно. Я сунула этот сатин в руки какому-то узбеку и купила за четыреста рублей кило черного хлеба.

Тут Ахматова, видимо, желая меня повеселить, сказала: "А знаете, если захочу, выключу рассудок и на "дурака" могу предугадать будущее. Прощалась с одним человеком, уезжая в другой город, спрашивает: когда увидимся? Отвечаю: через две недели, четвертое место в пятом ряду. Потом пошли в консерваторию - в пятом ряду на четвертом месте сидит он. Подтасовать было нельзя. Предсказала..." - "Предскажите и мне". Она быстро взглянула и отвернулась. "Что?" - "Клеймо неудачи". Я обиделась... Потом она назвала это "золотым клеймом неудачи" в таком четверостишии (я не думаю, что оно мне посвящено):
*О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.*

Но читая эти стихи много лет спустя, я подумала, что не посмеялась она, а погордилась мною тогда, ибо неудача - отдать всю жизнь стихам и почти ничего не получить взамен - и правда, золотая неудача, она стоит сотни тысяч других удач и ее ни на что не сменяешь.
А базар жил своей жизнью - чмокали верблюды, роняя слюну на оранжевые дыни, выглядывали из-под паранджи смуглые женские лица, какой-то старик в чалме разрезал красный гранат, и с его желтых пальцев капал красный гранатовый сок. К Ахматовой прислонился рваный мальчонка с бритвой, хотел разрезать карман. Я схватила его за руку, прошептала: "Что ты? Это ленинградка, голодная". Он хмыкнул. А потом снова попался навстречу нам. Привязался, надо бы сдать его в милицию. Но он протянул Ахматовой румяный пирожок в грязной тряпке: "Ешь". И исчез. "Неужели съесть?" - спросила она. "Конечно, ведь он его для вас украл..." Кажется, никогда не забуду этот бесценный пирожок, бесценный дар базарного воришки.
14
Как-то я спросила Анну Андреевну, в чем секрет ее стихов, поделитесь, мол, со мною. Она задумалась и ответила, что каждое новое стихотворение начинает, как бы продолжая предыдущее, начинает с "а" или "и" ("И очертанья Фауста вдали..." или "А я иду..."), получается, что все стихи как бы продолжаются одно в другом, словно отрывки единой лирической повести о человеке. Я не сразу поняла. Так просто - показалось мне тогда.
И вот теперь, через сорок лет, я вижу, что совсем не просто, в этом и есть неповторимость авторской интонации.
"Знакомить слова", "сталкивать слова" (любимое выражение Мандельштама)... Есть другой путь - точность, и еще важнее, чтобы каждое слово в строке стояло на своем месте, как будто оно там уже тысячу лет стоит, но читатель слышит его вообще первый раз в жизни". Такие слова, услышанные им от Ахматовой, приводит В. Я. Виленкин в своей превосходной книге "Воспоминания с комментариями".
Не могу не повторить также имеющийся в этой книге отрывок из статьи Н. В. Недоброво: "Напряжение переживаний и выражений Ахматовой дает иной раз такой жар и свет, что от них внутренний мир человека скипается с внешним миром... оттого и картины его не отрешенно пластичны, но, пронизанные душевными излучениями, видятся точно глазами тонущею".
Это гениальное провидческое определение стихов Ахматовой написано в 1915 году умнейшим человеком, героем многих стихов Ахматовой.
У Ахматовой нет новых слов, она старые привычные слова говорит по-новому, ставя их в новый ряд, оживляя всегда новой интонацией, новым огромным подтекстом, она верит читателю, своему вечному неведомому другу, и заставляет его сопереживать, участвовать в стихе, быть соавтором. В стихе ее мало подробностей, описаний, или, как теперь говорят, иллюстративности, все должен додумать, дофантазировать, дочувствовать сам читатель...

Попробую поговорить о любимом мною стихотворении "Летний сад":
*Я к розам хочу, в тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград.*

К розам? Какие они, эти розы? Красные, белые, бутоны или раскрытые и в росе? Нет ничего, кроме интонации, которая их оживляет, делает как бы людьми: "Я к розам хочу...". Дальше уже должно работать воображение читателя, он представляет себе эти розы, настолько прекрасные, что к ним можно "хотеть", как к близким друзьям. "Единственный" - эпитет к Летнему саду, и опять читатель вспоминает (а если не был там, то воображает себе) сад, который можно назвать единственным, и решетку его - "лучшей в мире":
*Где статуи помнят меня молодой,
А я их под невскою помню водой.*

И опять оживление - статуи помнят о молодости автора, значит, он уже немолод и вспоминает сад как свою молодость, и стихи затуманиваются; читателю чудится хрупкая девичья фигурка, мелькающая между статуй над какими-то неназванно прекрасными розами. Но автор помнит и наводнение и многие, многие беды.

*В душистой тиши между царственных лип
Мне мачт корабельных мерещится скрип.*

Какие великолепные аллитерации на "ш", на "м", на "р", и возникают корабли, и простор, и запах моря, но это далеко, а тут:
*И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
Любуясь красой своего двойника.*

И снова аллитерации на "л", на "с", на "в", то, что делает язык стихотворным в отличие от разговорного, и опять точный взгляд художника - у лебедя голова опущена вниз, он как бы смотрит вниз, любуясь своим отражением в пруду. А после белой плывущей зарисовки вдруг железные строки:
*И замертво спят сотни тысяч шагов
Врагов и друзей, друзей и врагов.*

Только в абсолютной тишине и с абсолютным слухом можно расслышать не шуршащие, а замертво спящие чьи-то шаги. Повтор слова "врагов" в начале и в конце строки опять говорит о многом, в том числе и о нелегкой жизни автора, снова расширяя подтекст и заставляя читателя сопереживать писателю. И как эти две строки были контрастом предыдущим, так а следующие тоже контрастны:
*А шествию теней не видно конца
От вазы гранитной до двери дворца.

Тут шепчутся белые ночи мои
О чьей-то высокой и тайной любви.

И все перламутром и яшмой горит,
Но света источник таинственно скрыт.*

Так интересен переход от какого-то театрализованного зрелища, медленного и плавного движения знатных дам с кринолинами и кавалеров в седых париках и белой ночи, светящейся над ними, к молодости Ахматовой: белые ночи шепчутся - ну конечно, белые ночи влюбленных, которые шепотом говорят о любви. Чьей? Чьей-то, чья высокая любовь осталась тайной для нас, тайной источника света перламутра и яшмы.
Ну и что узнали мы, проанализировав это стихотворение? Какой секрет? Любовь к Летнему саду, к Ленинграду, подкупающая искренность, внешняя простота и тишина с оглушительным внутренним подтекстом, контрастные двустишия, легкие рифмы, аллитерации. Вот и все. А между тем 16 строк стихотворения по их душевной наполненности ощущаются как поэма. Почему? Тайна тайной и осталась, ибо талант- это не называемая сущность, а угадываемая.
На вопрос: "Знает ли Ахматова себе цену и кто ее учитель?" - она ответила: "Знаю. Конечно, Пушкин. Онегина воздушная громада, как облако, стояла надо мной"... Она была убеждена, что стихи - это интуиция: "Встает один все победивший звук. Так вкруг него непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет с котомкой лихо... Но вот уже послышались слова..." И никаких правил, никаких анализов не признавала. Они ни к чему.
Как-то я попросила ее поговорить с девушкой, начинающей поэтессой, талантливой, но не признающей никаких моих замечаний (я работала консультантом). Ахматова отказалась. "Разве можно научить писать стихи? Надо показать неудачные строки, сказать - вот тут. Если человек поэтически одарен, сам поймет, а не поймет, значит, и не надо ему понимать". Вот так. И категорично. Она умела быть резкой.
Был случай, когда я хотела рассказать ей про общую знакомую, как та привела на скамейку под мое окошко человека, который мне нравился, и я целую ночь не спала, слушая их шушуканье. Ахматова оборвала меня: "Не хочу слушать". - "Но это - забавно..." - "Все равно не хочу. Я к ней хорошо отношусь".
В Союз писателей пришла ко мне актриса, наглая и глупая, и требовала стихи "от женского имени". Симонов, мол, написал "Жди меня, и я вернусь...", так надо и "Жду тебя, и ты вернись"; взамен она предлагала баранье сало. Как оказалось, до этого она посетила Ахматову, вошла не постучавшись, уселась на единственный стул посреди комнаты, стала шарить глазами по и стенам, кровати и под кроватью и приговаривать: "Ах, мне так стыдно, так стыдно, ах, я стесняюсь!" Ахматова, по ее выражению, стала "кидать ей спасательные круги": "Не стесняйтесь, пожалуйста..." Актриса требовала стихи "от женского имени" за продукты. Анна Андреевна отделалась от нее, направив в Союз писателей. Рассказывала она весело, как эта наглюшка сидела, шаря глазами, а Ахматова кидала ей "спасательные круги".
Помню встречу Ахматовой с Борисом Лавреневым. Высокий, подтянутый, с легкой походкой, яркоглазый, в морском кителе, он был красив и как-то очень организован. Приехал он в Ташкент, как к себе домой (он был в гражданскую войну первым советским комендантом Ташкента), сразу поручил мне собрать альманах, назвал его "Залп" и сам отредактировал, активно работал в Союзе писателей, собирал под свое крыло очеркистов.
Пришло известие о гибели его друга в потопленной фашистами подводной лодке. В коридоре Союза он столкнулся с Ахматовой, бросился к ней и склонил голову, как перед матерью. И я увидела слезы, стоящие в его синих (казавшихся синими) недвижных глазах. Ахматова тоже увидела. Она протянула руку и прижала к своей груди его голову. Не было сказано ни слова. Но так много было в этой встрече.
В те годы в Ташкент привозили эшелоны детей, оставшихся без близких и без крова, сиротские эшелоны. Узбеки брали детей к себе в семью, многих вырастили. Интересные выросли люди, знающие узбекский язык, как родной, настоящие интернационалисты. Тогда Гафур Гулям написал свое известное стихотворение "Ты не сирота", и до сих пор печатающееся в моем переводе:
*Разве ты сирота?.. Успокойся, родной!
Словно доброе солнце, склонясь над тобой,
Материнской, глубокой любовью полна,
Бережет твое детство большая страна.*

Ахматова любила эти стихи и внимательно относилась к их автору, считая его одним из лучших поэтов Востока. А со стихотворением "Ты не сирота" произошло событие, о котором я рассказывала Анне Андреевне: однажды на фронте, в одной войсковой части, кажется, артиллерийской, я его читала. Читаю и чувствую какое-то особое настроение аудитории. "Вот, думаю, как хорошо читаю", стараюсь изо всех сил. Прочла. Меня окружили. Подвели командира полка, седого майора, со слезами на глазах. Оказывается, его сын нашелся благодаря этим стихам. Он прочел их в "Правде", там были такие строки: "Если жив твой отец, - беспокойная тень пусть не тронет его средь грозы и огня, пусть он знает: растет его сын у меня!"
И этот человек, потерявший на войне семью, написал письмо - "В Ташкент. Гафуру Гуляму" и на днях получил ответ: сын его нашелся, живет в детском доме Ташкента. Ахматова радовалась чуду стихов, тому, что в каждом стихе Гуляма - своя сверхзадача.
А дамы, вероятно, по выдумке А. Толстого, решили устроить костюмированный вечер, платный, в пользу эвакуированных детей. В этом принимали участие Е. Пешкова, жены А. Толстого, Всеволода Иванова, ташкентских руководителей. Вечер был блестящим. Особенно хороши были Алексей Толстой и великолепный артист Еврейского театра Михоэлс, они изображали, очень комично, подвыпивших плотников; Ахматова тоже выступала. Я беспокоилась, в чем она покажется в столь избранном обществе, но ее одели какие-то добрые женщины,- она была в роскошном синем платье, в мехах и в жемчугах, все с чужого плеча, так что и тут была некая театрализованность.
Анна Андреевна не вела со мной романтических разговоров, иногда о чем-нибудь вскользь упоминал.
Так, я знала, что у нее в Ленинграде большая любовь - Владимир Георгиевич Гаршин, хирург, профессор, родственник (кажется, племянник) писателя Гаршина. Ему был посвящен эпилог в "Поэме без героя" - городу и другу, и прекрасные стихи в этой поэме:
*Ты мой грозный и мой последний
Светлый слушатель темных бредней,
Упованье, прощенье, честь.
Предо мной ты горишь, как пламя,
Надо мной ты стоишь, как знамя,
И целуешь меня, как лесть.

Положи мне руку на темя, -
Пусть теперь остановится время
На тобою данных часах.
Нас несчастие не минует,
И кукушка не закукует
В опаленных наших лесах.*

Что за драма произошла? Почему она, переделав поэму, уничтожила всю взволнованность этих стихов?
А до этого я ехала на фронт (говорили, что на Ленинградский), и Ахматова дала мне книжку с подписью: "Милому другу - издалека", предназначенную для Гаршина, которого я должна была найти с помощью Ольги Берггольц, которая решила, что это - ей, что милый друг - она. Потом Ахматова говорила, что судьба распорядилась правильно, и хорошо, что книжка не дошла до адресата, ибо посвящение ему было снято.
Говорили, что в Ленинграде произошла трагедия, что был сильный приступ безумия... Не ему ли написаны годы спустя такие жесткие строки:
*...А человек, который для меня
Теперь никто, а был моей заботой
И утешеньем самых горьких лет, -
Уже бредет как призрак по окраинам,
По закоулкам и задворкам жизни,
Тяжелый, одурманенный безумьем.
С оскалом волчьим... Боже, боже, боже!
Как пред тобой я тяжко согрешила!
Оставь мне жалость хоть...*

Трудна и неистощима на контрасты жизнь.
15
Был и еще человек (о нем я упоминала), дружба с которым жила в сердце Ахматовой. Это Алексей Козловский, композитор, писавший музыку к "Поэме без героя" и "Прологу", а также к стихам "Царскосельская статуя" и "А я росла...".
Алексей Федорович Козловский и жена его, Галина Лонгиновна Козловская, - известные люди в русской культуре Узбекистана, он автор оперы, а она - либретто для нее. В Ташкенте был у них уютный дом, сад с цветами и ручным журавлем. Человек большого таланта и тончайшей духовной организации, он с глубоким, почти молитвенным уважением относился к Анне Ахматовой. Она же в последнем прижизненном сборнике "Бег времени" в 1965 году сделала ему царственный подарок - посвятила стихи "Явление луны" и "Как в трапезной...", стихи эти печатались и раньше, но незадолго до своей смерти она надписала над ними "А. К.", а В. М. Жирмунский в примечаниях к уже посмертному сборнику 1976 года расшифровал эти инициалы.
В сборнике же 1961 года к этим стихотворениям примыкают включенные Ахматовой еще восемь, как бы подчеркивая творческое содружество двух художников.

*Как в трапезной - скамейки, стол, окно
С огромною серебряной луною.
Мы кофе пьем и черное вино,
Мы музыкою бредим... Все равно...
И зацветает ветка над стеною.
И в этом сладость острая была,
Неповторимая, пожалуй, сладость.
Бессмертных роз, сухого винограда
Нам родина пристанище дала.*

Помню комнату, о которой идет речь в этом стихотворении. Узкая невысокая комната на первом этаже, посередине - длинный некрашеный стол, с двух сторон скамейки. На столе - глиняный кувшин с тюльпанами или с цветущей веткой. Чисто, тихо. И полумрак от растущих за окном кустов тутовника и акации. А на лицах - свет стихов, единственных в мире.
На многих стихотворениях последнего времени мной угадывается тень этого рыцаря, влюбленного в поэзию и ее автора. Тень прозрачна, сквозь нее видны и низкие азийские звезды над тополями, и дымное московское небо, и органные сосны в Комарове. Эти, удивительные стихи говорят о том, что поэт любит как дышит, и любовь отлетает от него только с последним дыханием.
Алексей Козловский пережил Анну Ахматову. Говорили, что его жена, горячая поклонница поэзии Ахматовой, привезла из Ташкента в Комарове на могилу Ахматовой горсть земли с его могилы. Так это или нет, не знаю, но склоняю голову перед этой легендой о гордой и чуткой душе, согревшей одинокую могилу Ахматовой отблесками азиатского солнца.
Азия вошла в стихи Ахматовой органично. В ее русский строгий ритм вписался ташкентский пейзаж, вошли слова узбекские и бытовавшие там.
Это слияние русской и узбекской культуры, восточный прищур северных ритмов в ахматовской лирике еще ждет своего исследователя. "...Рысьи глаза твои, Азия, что-то высмотрели во мне"; или: "...Могильной чалмы благородные складки и царственный карлик - гранатовый куст". Ведь и правда, в чалме есть что-то могильное, напоминающее купол мечети на кладбище, а сухой виноград - ведь это изюм, как точно, но никто до Ахматовой этого не сказал; многие восточные реалии бросаются в глаза: и "мангалочий дворик", и "баранчуки", и "Халимы соловьиное пенье", и "свое бормотали арыки", и "Азией пахли гвоздики", и, наконец, такие стихи:
*С грозных ли площадей Ленинграда
Иль с блаженных летейских полей
Ты прислал мне такую прохладу,
Тополями украсил ограды
И азийских светил мириады
Расстелил над печалью моей?*

Кстати, слово "азийский" вместо "азиатский" введено в современный литературный язык Ахматовой, с чьей легкой руки мы его подхватили. Не могу не привести и прелестную, будто выписанную опытнейшим живописцем, акварель:
*Словно по чьему-то повеленью,
Сразу стало в городе светло -
Это в каждый двор по привиденью
Белому и легкому вошло.
И дыханье их понятней слова,
А подобье их обречено
Среди неба жгуче-голубого
На арычное ложиться дно.*
Сколько стихов написано об Азии, но такого нет, не было и не будет.
Не надо забывать, что стихи эти (тут я хочу продолжить мысль А. Межирова о сопротивлении в стихах Ахматовой) писались в годы войны, и это ощущение и изображение красоты природы и человеческого духа было сопротивлением горю, одиночеству, ужасам войны, было нравственным человеческим подвигом.